

у меня нет его фотографии...

У меня нет его фотографии — в этой семье изображений особенно не хранили. Его звали Иван, Иван Андреевич Гончаров. Я помню его невысоким, худым, но кряжистым, с очень черными, довольно длинными волосами. Он был похож на половецкого всадника. Он родился в 1922 году в Москве, старшие братья отдали его в детский дом где-то на Урале. Когда началась война, ему было восемнадцать, и была какая-то обреченная высотка, и кретин командир или политрук, рвавшийся в бой, и осталось четверо. Что стало с тремя, я не знаю, а Ивана немцы отвели к латышской хозяйке на хутор работником-батраком, и она отнеслась к нему хорошо, он там работал на нее и у них была любовь.

Когда окончилась война, ему еще не было двадцати трех, и он смог уже уйти от хозяйки, но в Москву искать старших братьев не поехал, потому что они там стали большими начальниками на каких-то заводах и он боялся им повредить, ведь на нем было клеймо военнопленного; вообще удивительно, что он, такой детский и наивный, это хорошо понимал. Так что он просто двинул на юг как попало. И где-то под Тамбовом он встретился на дороге с женщиной с рьяным после детской болезни лицом и ровно на десять лет его старше, сильной, насмешливой, несоветски независимой, и остался с ней в этих плоских местах, под Мичурин-

ском, где яблоки белый налив и другие скрещения несслышанной величины и запаха, а прежде город назывался Козлов. Я была там и видела эту жидкую лесостепь, забитые досками окна, ничего, кроме поездов, привычно приходящих по двум большим железнодорожным направлениям, и никакой воды, кроме Комсомольских прудов. И он там устроился работать грузчиком на этом узле, Кочетовка, и так и разгружал всю жизнь вагоны, пока не вышел на пенсию.

Я когда думаю об Иване Андреевиче, то сразу вспоминаю рассказ Шукшина «Чудик». Там, если вы помните, главный герой находит в сельпо мятую десятку и начинает всех спрашивать, кто потерял, и еще шутит, что вот какими деньгами люди бросаются, а потом отдает продавщице и, только отойдя от магазина, понимает, что десятка-то была его, но вернуться и сказать ему после этого всего уже неловко. Иван Андреевич был сильный, но не мог зарезать курицу, не говоря свинью, и, по утверждению С., не ел мяса; и вообще странный был крестьянин, у него были совершенно неумелые руки.

Я увидела его впервые, когда С. повез меня в Кочетовку знакомиться с родителями. Я тогда ехала неуверенно, но с любопытством, а те несколько моих друзей, что об этом знали, переживали, как там меня встретят — не просто отличную еврейку, а еще с непонятным матримониальным статусом. Встретили хорошо, она — несколько настороженно (именно из-за статуса), но с веселым интересом; он — открыто и счастливо. За столом смотрел нежно и так восхищенно, как будто я была Нина Русланова. Пригласили соседа, безногого Сашку, въехавшего на тележке. В Кочетовке неожиданных гостей встречают как ни в чем не бывало, накрывают на стол быстро и легко пьянеют. Не прошло и получаса, как они уже пели — мать, отец и сын, на три голоса, improvisируя, и никто не замечал Сашкиных подстольных движений. Мне было неловко сказать или пересесть, потому что он был инвалид, так что я только молчаливо увертывалась.

Было еще совсем светло, это (что было светло) почему-то было странно. Какой у отца оказался открытый голос! Как они пели! Как в рассказе Казакова «Трали-вали», когда они там ночью сидят на берегу реки.

Но главное я узнала о нем на следующий день, уже ночью, когда мы с С. пытались втиснуться в московский поезд. На станции пахло яблоками, нетерпеливая толпа напирала на окошко, и было ясно, что на поезд нам не попасть и мне утром не попасть на работу. У кассы висела бумажка, что ветеранам войны без очереди. С. посмотрел вопросительно, и Иван Андреевич послушно двинулся к кассе неуверенными зигзагами. С., смеясь, сказал мне: «Смотри, что сейчас будет». Действительно, отец потоптался у кассы и, так и не подойдя к окошку и ничего не спросив, быстро и с облегчением пробрался назад, к нам. Он это удостоверение никогда не вынимал, и ничто, при всей его мягкости, не могло его заставить использовать хоть какие-то свои военные привилегии.

Жена его была настроена мистически и, по рассказам С., действительно успешно лечила, уводя на рассвете в поле, золотушных детей, которых ей иногда привозили из Ленинграда. А как-то, тоже на рассвете, ей привиделось — это уже мое слово, в их рассказах было просто: «посыпались с потолка медные монеты»; и она в этом увидела предостережение и ни за что не хотела пускать Ивана Андреевича на работу, но он, смеясь, отодвинул ее и пошел; и там, на станции, при погрузке случилась авария, он разбил голову и долго лежал в далекой больнице с инсультом, и одиннадцатилетний С. пошел его навестить — в тех краях не едут, а идут, — долго шел через поля и еще поля, нес ему пакет очищенных семечек.

Он хоть и учился в советской школе, был, кажется, почти безграмотным, расписывался какой-то закорючкой. Это был один из самых деликатных, музыкальных и счастливых людей в моей жизни, и в нем была эта важная для меня особенность: он никогда не чувствовал себя жертвой и очень удивился бы, если бы ему так сказали про его жизнь. Я виде-

ла его совсем немного, но прелестный образ его так был мне по душе, что я собиралась назвать в его честь сына — потому что абсолютно все утверждали тогда, что по всем приметам будет именно сын. Так что моя С. — немного Иван.

Я видела его в последний раз, когда, уже овдовевший, он так же неожиданно приехал к нам в Ершово и пошел гулять с маленькой С. и, восхищенно глядя на нее и всем объясняя, что эта красавица — его внучка, качал ее на качелях у подъезда. Он качал, С. молча качалась, и глаза ее становились все больше и больше, пока она не слетела с качелей и ее не стошнило и он с виноватым ужасом не помчался с ней наверх. Ему все нравилось: и большие окна, и мы, и моя стряпня — поджаренные сосиски.

Потом он практически ослеп — последствия то ли ранений, то ли той кочетовской контузии — и переехал к старшему сыну, а потом вдруг к какой-то неизвестной нам тетке — по любви или по ее корысти, никто так и не узнал.

боба горовиц

Вернувшись в СССР с концертами в 86-м, в Харьков Горовиц не поехал, там уже никого не было; братья его погибли, один в Первую мировую, другой — во Вторую, а сестра Регина, невыезная пианистка мирового класса, тихо преподававшая в Харьковской консерватории, умерла за несколько месяцев до его приезда. Родство с Горовицами было через бабушкиного старшего брата Марка, женатого на двоюродной сестре Владимира, тоже Регине (Бобе) Горовиц, художнице кино. Именно с ней из всего харьковского клана вспыхнула у меня внезапная дружба, как не один раз в жизни у меня было со стариками, и продлилась до ее смерти. Мне было двадцать пять, ей за восемьдесят.

Я знала ее с самого раннего детства, она часто приезжала в Москву к сестре, пианистке-аккомпаниатору; по странному совпадению они жили в одном доме с маминими родителями, и даже на одном этаже-палубе. Этот довольно нелепый «дом-корабль», он же — Дом Наркомфина веселого Моисея Гинзбурга, якобы дом-коммуна, — располагался во дворе за американским посольством и домиком Шаляпина. Там, если считать по дням, прошли мои полдетства. Этaji были длинные, с бесконечным рядом квартир по левой стороне и бесконечными тусклыми, в меловых разводах окнами по правой; была масса тревожащего слюдяного днев-

ного света, и до школы именно так — в виде такого вот бесконечного коридора — я представляла себе, как выглядят школа и тюрьма. Квартиры были очень маленькие, без кухни, но трехэтажные; большую часть площади вырезала лестница, так что располагавшаяся на среднем уровне комната изображала букву П, и по левой вертикальной перекладине надо было пробираться вдоль диванчика к шкафу или назад к окну. Планировка на корабле была двух типов: вниз-вниз или вверх-вверх, так можно было изучать четные и нечетные числа. Мои жили на одной палубе с Горовицами, но в нашей нечетной квартире из входа надо было подниматься, а у Горовиц — спускаться; их квартира казалась поэтому интересней — притягивала, как притягивает все иное, например, санки с поперечными перекладинами, а мои были с продольными. У сестер всегда было возбужденно: сигареты, преферанс, непривычный душноватый театральный уют. Иногда приходил с чемоданчиком и всех по очереди обслуживал старенький педикюрисст Петр Петрович, очень добрый и совершенно лысый — я когда впервые увидела фотографию Шкловского, сразу его узнала.

У Сильвы было опереточное имя и неожиданные для пианистки длинные узкие яркие ногти, но мне не нравилась ее вкус, и уже тогда, в пять-шесть лет, было легче с часто приезжавшей из Харькова Бобой, естественной и прямой, у которой к тому же была удивительная двойная фамилия через черточку — Горовиц-Виноградова. Обе сестры с гордостью несли свои огромные носы (особенно у Бобы) и вообще свою явную непохожесть на нормальных советских женщин. Эти свои легендарные носы и непохожесть сестры несли как орден, вели себя как *красавицы*, это было совершенно искренне; и вот об этой их *уверенности в своей красоте* и производимом ею, этой уверенностью, впечатлении шли чуть ироничные (я чувствовала) и в то же время восхищенные разговоры взрослых, когда они не переходили на свой осколочный идиш; а может, и был только один, но

запомнившийся разговор. Этот вопрос чрезвычайно волновал меня, я подспудно примеривала такое поведение сестер к себе и своей будущей жизни как некий необходимый урок, но не находила в себе этой уверенности — ну ни грамма ее — ни тогда, ни позже.

Обычно мы шли к ним, а не они к нам, по этому длинному коридору, в самый конец его; но я помню их и у нас, это уже чуть позже, в конце шестидесятых, когда появился приемник «Спидола» и по радио читали письма Светланы Аллилуевой, а я валялась на диване (на левой палке буквы П), смотрела на темное окно (верхнюю ее перекладину) и размышляла о такой странной фамилии; взрослые слушали, изредка восклицая, а потом сразу начинали возбужденно говорить, и я понимала, что происходит что-то важное.

Потом в отрочестве миф о Бобе немного изменился, то есть *те* разговоры оставались, но добавилось еще про то, как арестовали мужа, бабушкиного брата, и наутро она пришла на работу на киностудию, где работала художником, с еще выше, чем всегда, поднятой головой, с теми же густо накрашенными ресницами — ни слезинки: не дождетесь!

И потом — мне уже было двадцать пять, двадцать шесть — началась эта внезапная дружба, сперва просто переписка, и я даже не помню, с чего, случайно — какая-то ее сломанная рука или нога, поддержка с моей стороны, превратившаяся в длинные письма, в близость. Она оказалась такая живая и настоящая, и интересная, столько в ней было неожиданного тепла, и мы всё планировали, как я приеду в Харьков, но я так и не добралась. И потом был некий сентябрь, мы — я и С. — ехали на медленном поезде в Крым, я нарочно взяла такой, чтоб была остановка в Харькове; беда была в том, что остановка эта была очень ранним утром, кажется, даже до семи, и С. удивлялся, что я с таким нетерпением жду встречи с какой-то старушкой-родственницей, а я даже и не пыталась объяснить, просто стояла в коридоре; и когда поезд дотащился-таки до Харькова, я увидела, что перрона нет,

нас почему-то загнали на какие-то дальние, чуть ли не запасные пути. И тут я увидела ее — она почти бежала на тонких высоких каблуках, ввинчиваясь в грязный вокзальный гравий, — как она туда добралась и когда ей пришлось встать в то утро, не представляю, но она уже ждала, явилась с вежливой точностью того поколения, которую я уже знала по другим своим старикам-друзьям, и была, кажется, такая же, какой я помнила ее, когда мне было пять лет, в этих непрактичных лодочках, с хриплым голосом, с маникюром и ресницами и, конечно, со своим великолепным носом и тяжелым горовицевским лицом в таких же крупных пигментных пятнах, как на руках Владимира. Представленный ей С. был поражен ее личностью, ярким достойным *presence*; но у меня не было времени торжествовать, мы с ней стояли рядом в первый и в последний раз жизни, в дымном зябком рассвете с запахом вокзальной гари и дегтя; кажется, моросило, — я, 27-летняя, и она, на очень высоких каблуках 85-летняя старуха, — счастливые, и улыбались друг другу, и мне тогда вдруг показалось, что никого у меня нет роднее ее.

И Я ПОДУМАЛА О СКОТТЕ

Ночью началась реакция на вакцину, и так трясло! Не озноб, а прямо какая-то пляска святого Витта. Так у меня было, кажется, только два раза в жизни: один раз в коридоре роддома в Москве, когда я там валялась после родов и об меня спотыкались, и потом дали бесполезное тонкое одеяло тюремного цвета; а другой раз — уже в этой жизни, но тоже не хотелось вспоминать. Я лежала под сотней зимних американских одеял в сотне свитеров, но это не помогало, и я решила лучше думать о моих героях — как Скотт и его товарищи тащатся по леднику Бирдмора на своем печальном пути с полюса, когда они уже нашли палатку Амундсена и в ней немного припасов для нашедших и письмо норвежскому королю — Амундсен вежливо просил Скотта передать; и как они тащатся по шероховатому от радиации льду в крупных кристаллах, — Скотт жаловался, что это как по песку пустыни, — как им метет в лицо, а они все равно знают уже, что их опередили всего на месяц, и все кончено, больше на Земле полюсов нет, а им всем хочется быть первыми.

Я попробовала думать об экваторе, чтоб согреться, все равно полюса смещались, но есть что-то отвратительное в этих лианах и цепляющейся зелени, и я решила думать, как люди, которыми я восхищаюсь, неумоимо идут сквозь пустыню, как Чихачёв; но я не помнила, где он шел, он был всюду, и ни на чем не удавалось остановиться и представить,

кроме того, что у него было доброе лицо, и его звали Платон, и он умер в Париже, а больше никого, кроме Пржевальского в пустыне Гоби, которую вообще непонятно зачем пересекать, а ночью на нее спускается такой дикий холод; тем более что Пржевальский был неприятный, жестокий, собирал — кажется, в «Даре» это было — хвосты от убитых яков, а туши выбрасывал; ясно, что в принципе такой человек действительно мог быть отцом Сталина — конечно, легенда, но его памятник над ослепительной ледяной синевой Иссык-Куля — я его видела тогда, студенткой в универе, когда все еще только начиналось, — это же чистый генералиссимус; и я тогда решила думать про своих, как они жили при Сталине, и всё, через что прошли, и не сдавались, и не жалели себя, а спасали друг друга, как Оутс, когда он сказал, что выйдет по нужде — и пошел на своих отмороженных ногах от палатки, и они всё поняли и не остановили его, он не хотел быть обузой. А что, если у меня и вправду пляска святого Витта, она еще называется «хорея» — но от мысли о стихах стало почему-то странно, хотя немного теплее, как в дырявых шерстяных носках.

И я подумала о Скотте в ту их последнюю неделю в палатке, когда они не могли выйти из-за метели, которая продолжалась десять дней, до конца марта; он вел еще дневник, а Уилсон и Бауэрс уже не писали родным, как прежде, и как выяснилось — это их метеоролог уже потом установил, Симпсон, который не мог себе простить гибели обожаемого Скотта, — что никакой метели не было уже, никакая метель не длится в Антарктиде десять дней, и наоборот, стало теплее; но Уилсон и Бауэрс говорили ему, что метель, потому что знали, что он не дойдет, они не могли его оставить; и, конечно, у них у всех были таблетки, Скотт всем раздал на всякий случай, но я не думаю. И как он в последний день написал письмо королеве. И тогда я сразу вспомнила, что вчера вечером узнала с большим опозданием, как в каком-нибудь 1912 году, что принц Филипп умер, и мне стало жалко королеву.

Я вспомнила, как папа, который обожал все британское, все это королевско-морское и офицерское, тыкал тонким твердым пальцем в фотографию в голубой тканной книге «Дневника»: «Смотри, как эти люди едят! в Антарктиде! Как они гладко выбриты и подтянуты». Откуда он знал, как они выбриты — фотографии были такие тусклые! Но эта легенда меня всегда поддерживала; в трудные моменты я вспоминала, как они сидят — еще все вместе, на своей пахнущей свежим деревом базе, еще до всего, их много, еще веселые, едят ножом и вилкой и слушают лекцию про какую-нибудь Японию. И потом я вспомнила другую фотографию, где стоят — четверо, потому что один снимал, — у той палатки Амундсена и его четырех спутников, их опередивших, грациозно, без всяких там научных исследований и лекций проскользивших к полюсу на своих сильных норвежских ногах и быстро вернувшихся сквозь ясную синюю погоду. Я помнила там такие четкие линии — то ли крест, то ли веревки, такая ясность и четкость, полная гармония композиции, абсолютная гармония поражения.

воскресенье, утро

По воскресеньям, уже в Кузьминках, он стоял в утреннем балконном сиянии в домашней ковбойке с закатанными рукавами у большого низкого стола с могучей наклонающейся, как чертежная доска, столешницей. Этот стол, который отец вычертил, а сделал мастер с удивительной фамилией Костяшкин, оказался в каком-то смысле необыкновенным в своей способности запоминаться: как выяснилось через много лет, он застрял в памяти друзей — многочисленных родительских и моих. Когда приходили гости и было не лень, стол переворачивали почти черной мебельной стороной наружу — фасад своего рода; на ножки надевали копытца с длинными шурупами, он становился выше и нормальной. Но обычно стоял рабочей — струганой, светлой, усеянной дырочками — стороной вверх. Между его потемневших кнопочных созвездий, отодвинув рейсшину на дальний край, я делала уроки или, пока не вернулись с работы родители, читала не предназначенные мне книги.

На доске в ее наклонном виде, как в небесах Гесиода, каким-то чудесным образом удерживались, не скатывались на пол желто-черные полосатые карандаши «Кохинор» и очень мягкие, быстро теряющие шкурку ластики; иногда ластиками становились разнокалиберные шарики резинового клея, плющившиеся под пальцем, — ими можно было стирать уже не нужное и с ватмана, и с кальки — серо-голубой, плотной или другой, теплей по тону и совсем прозрачной. Само собой, держались на месте, почти не сползая, и тяжелые инструменты: циркуль с измерителем и раскрытой бархатной готовальней сбоку и даже маленькая, мерцающая особым белым пластиковым блеском — особенно в городскую дождливую осень — очень ладная логарифмическая линейка с потертым слюдяным окошком, с тонкой вертикальной царапиной точно посередине.

Когда мы с мамой остались одни, то уже и не преворачивали его, он так и остался стоять — струганный, ремесленный, навсегда горизонтальный. Нутро его продолжало хранить теплый грифельный запах — если поддеть снизу, приподнять и заглянуть в его полутьму, увидишь разнообразные ящички с отделениями, и в них забытые папой фломастеры, мерцающие циркули и измерители, и разной твердости карандаши; даже если отпустить доску, быстро выдернув пальцы, и схлопнуть, это все оставалось там, как невидимая, но никуда не исчезающая рабочая стойкая суть. И когда я потом готовилась к экзаменам в университет и раскладывала огромные географические карты, которые невозможно запомнить никакому смертному, они выглядели просто как очень подробный земной чертеж.